Парус

ЖУРНАЛ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

октябрь / 2019

Ирина Калус

Журнал «Парус» №78, 2019 г.

«Автор»

2025

Калус И.

Журнал «Парус» №78, 2019 г. / И. Калус — «Автор», 2025

Русский литературный журнал «Парус» приглашает любителей отечественной словесности на свои электронные страницы. Академичность, органично сочетающаяся с очарованием художественного слова, — наша особенность и сознательная установка. «Парус» объединяет авторов, живущих в разных уголках России: в Москве, Ярославле, Армавире. Статус издания как «учёно-литературного» (И. С. Аксаков) определяет то, что среди авторов и редколлегии есть представители университетской среды, даже определённой — южно-русской — литературоведческой школы. Рубрики «Паруса» призваны отразить в живых лицах текущий литературный процесс: поэзию и прозу, историю литературы, критику, встречи журнала с разными культурными деятелями, диалог с читателем. В наши планы входят поиск и поддержка новых талантливых прозаиков и поэтов, критиков и литературоведов, историков и философов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов.

© Калус И., 2025
© Автор, 2025

Содержание

Цитата 5
Художественное слово: поэзия 6
Геннадий ЁМКИН. Сердце я не пробовал беречь 6
Валерий ТОПОРКОВ. На семи берегах 11
Виктор ЛЕВАШОВ. В остальном – сплошной пиррихий… 20
Влад ПЕНЬКОВ. Ладонь судьбы по-русски 23
Художественное слово: проза 29
Дмитрий ЛАГУТИН. Лишний воздух 29
Судовой журнал «Паруса» 34
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись тринадцатая: «На Мологской улице» 34
Литературный процесс 38
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты) 38
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Ирина Калус, Геннадий Ёмкин, Валерий Топорков, Виктор Левашов, Владислав Пеньков, Дмитрий Лагутин, Николай Смирнов, Евгений Чеканов, Геннадий Гусаченко, Вячеслав Александров, Амвросий Оптинский, Евгений Разумов, Александр Юдин, Иван Марковский, Евгений Марковский, Василий Пухальский Журнал «Парус» №78, 2019 г.

Цитата

Михаил ЛЕРМОНТОВ

***
Люблю я солнце осени, когда,
Меж тучек и туманов пробираясь,
Оно кидает бледный, мертвый луч
На дерево, колеблемое ветром,
И на сырую степь. Люблю я солнце,
Есть что-то схожее в прощальном взгляде
Великого светила с тайной грустью
Обманутой любви; не холодней
Оно само собою, но природа
И всё, что может чувствовать и видеть,
Не могут быть согреты им; так точно
И сердце: в нем всё жив огонь, но люди
Его понять однажды не умели,
И он в глазах блеснуть не должен вновь
И до ланит он вечно не коснется.
Зачем вторично сердцу подвергать
Себя насмешкам и словам сомненья?

1830 или 1831

Художественное слово: поэзия

Геннадий ЁМКИН. Сердце я не пробовал беречь

***

Я осторожен, – нежное несу,
Ладонями от ветра укрывая.
Там утренние звёзды на весу
Всё шепчутся о чём-то, угасая.

Там ландыши последние цветут,
Любой прохожий хочет стать поэтом,
А соловьи, послушай, так поют,
Что май, вздыхая, истекает в лето.

В ладонях, как в долинах, эти дни
От суеты и быта охраняя,
Несу тебе, любимая! Прими!
Как принимают ландыши, вздыхая.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Тихо-тихо… Воздух полон влагой.
Ни единый лист не задрожит.
И слышнее стало – по оврагу
Ручеёк серебряный бежит.

И едва, но всё же уловимо,
Там, где тёмен, грозен окоём,
Тучи и лениво, и ворчливо,
По-соседски спорят о своём.

А в овраге звёрушка любая,
Закрывая лапками глаза,
Думает, в тревоге засыпая:
– Будет дождь… наверное – гроза…

***

Оконный белый переплёт,
На стенах кафельная плитка,
По радио концерты Глинки —
И дождь идёт, идёт, идёт.

И каждый день растянут в год.

Придёт сестра, зовут Иринка.
Уколет и опять уйдёт.
Затем – обход, обед и Глинка…

И новый день растянут в год.
Зову кого-то, не дозваться…
Красавица сестра зайдёт
И скажет: «Надо поправляться!»

Красивым красным ноготком
По шприцу щёлкает Иринка.
И тот же дождь, и тот же Глинка,
И те же виды за окном.

Мне стало сниться: коготком
Кроваво-красным та Иринка
По шприцу щёлкает, потом
Мне в вену вводит дождь и Глинку…

И навсегда уже дано
Больничной жизни постоянство.
– Сестра! Откройте мне окно!
Мне нужно в Звёздное Пространство!

***

Не спится, родная! Не спится.
И ты, беспокойная, спишь,
Бретельку у левой ключицы,
Вздыхая, во сне теребишь.

Тебе неспокойное снится…
Ты шепчешь как будто: «Приди…»
Наверное, райские птицы
В твоей поселились груди!

Не спится, родная! Не спится!
И знаю, уже не уснуть!
Поскольку две райские птицы
Волнуют высокую грудь…

***

Горит в углу лампадка,
Мерцают образа.
Сверчок за печкой сладко
Поёт, закрыв глаза.

С любовью на кроватку,

Где русый мальчик спит,
Во сне вздыхая сладко, —
Сам Боженька глядит.

И от лучей лампадки
Волшебный свет идёт,
И ангел, кроткий ангел
Поёт, поёт, поёт.

***

Гроза прошла. Остатки грома
Далёки… и едва-едва…
В лугах туман. В лугах истома.
И в мир не явлены слова.

Да что слова! Все звуки лишни!
И ночь прошла, но не рассвет…
Остатки грома дальше… тише…
Уже вот-вот сойдут на нет.

Такого не услышать дома.
И я в луга спешу, в луга,
Где тишина, что после грома
На травы влажные легла.

Ещё и солнце дремлет где-то,
И птицы дремлют, не слышны.
И всё на грани полусвета
И первозданной тишины.

***

Ухожу. Ни боли, ни страданья.
Помню мало. И того не жаль.
Журавли больнее улетают,
Оставляя нам свою печаль.

Как бы мне хотелось верить в это —
Что они, с уходом сентября,
Лишь грустят, что вдаль уносят лето,
И не плачут… Плачу только я.

МАЭСТРО

В доме напротив желтеет окно.
Сумерки долги и зыбки.
В доме напротив, мне слышно давно,
Мальчик играет на скрипке.

Мальчик настойчив, он выучил в срок
Vivo, crescendo и presto,
В жёлтом окне за уроком урок
Учит вихрастый маэстро.

И непременно с течением лет
Станут пленительны звуки.
Станут летучи, мгновенны, как свет,
Трепетны, чувственны руки.

Звуки роятся, срываются прочь
Звуки, и снова роятся.
Скрипке, как девушке, каждую ночь
Руки любимого снятся.

Я это вижу и знаю давно.
Это со мною бывает…
В доме напротив открыто окно.
Мальчик на скрипке играет.

***

Как прожить без боли, я не знаю.
Сердце я не пробовал беречь.
Вот – ступает Родина по краю.
Вот – Родная пропадает Речь.

Журавли опять же… Или в мае —
Робкие, из первых, соловьи…
Или та, как рана ножевая,
Память о потерянной любви.

Слава Богу! Верного не знаю
Из рецептов – сердце уберечь.
«На живую» нитками латаю,
А оно даёт за течью течь…

***

И глубиной дышал простор,
Венчая день, венчая лето…
Я слышал птичий разговор,
Что это – осени примета.

Один из первых жёлтый лист,
Прервав круженья и метанья,
Переводил мне птичий свист
И глубину того дыханья.

Я, очарованный, простёр
Объятья осени навстречу
И стал на птичий разговор
Мудрей природы человечьей.

***

Дождь и дождь – октябрьские слёзы…
Будто ожидаемо, но нет —
Сдавит горло… А мои берёзы
Не листву роняют – Дивный Свет.
Нет, он не горел, но неба просинь
Так им согреваема была,
Что листва в сердцах не билась оземь,
И остатки летнего тепла
Отпускал он так, как в сельском храме
Отпускает батюшка грехи,
Что об этом даже временами
К нам приходят светлые стихи.

А теперь, ненастною порою,
Станут листья к стёклам прилипать
И подступит к горлу вдруг такое,
От чего нельзя не зарыдать…

ДРУГУ
Валентину Кручинину

За окном мой жёлтый клён
Опадает, опадает.
Было так, что был влюблён,
А теперь так не бывает.

Даже если в жизни той
Слыл гулякой и поэтом,
То теперь, мой дорогой,
Не об этом, не об этом.

И ко мне, мой милый друг,
Утешение приходит
Даже в том, что всё вокруг,
Всё проходит, всё проходит.

Опадает жёлтый клён
Не напрасно, не напрасно —
Был поэтом, был влюблён!
В жизни всё, мой друг, прекрасно!

Валерий ТОПОРКОВ. На семи берегах

Есть ли на языке моём неправда?
Неужели гортань моя не может различить горечи?
Иов. 6:30

***

я устал дожидаться огня
непонятного умному глазу

стихомания выдай меня
моему участковому сразу

пусть за мной высылают наряд
с ног сбивают и накрепко вяжут

если сами стихи говорят
что по всем обвиненьям
покажут

ИНТРОДУКЦИЯ
Л. Т.

«Пни замшелые. Былинная хво*я*.
Изумрудная долина. Ты да я…» —

Так слова, как птицы, ищут, где им сесть.
И в кукушке от радистки что-то есть.
И у дятла не от райского вина
в скорострельной голове своя война.

…Вот и сердце вторит дятлу часовым
механизмом одноразовым своим:
– …*ПО-ГРУС-ТИТЬ НЕ ГРЕХ ДО БУ-ДУ-ЩИХ ПО-БЕД*…

Жизнь прекрасна. Жизнь убога. Да – и нет.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕГИЯ

С надеждой, не скажу бредовой,
с обидой, не кривящей губ,
по грязным улицам Ростова
иду как Фёдор Сологуб.

…Да-да, в училище, как Фёдор!
Как он, иду учить детей.

Учить тому, что *Гарри Поттер*
Незнайки нашего глупей.

Учить не мыслящих учиться
тому, что книжки умолчат:
почти что Римская волчица
вскормила рыночных волчат

(доныне сильный не унижен,
отныне он во всем хорош!),
теперь повсюду ясно слышен
их раздирающий скулёж…

И вовсе не пример отдельный
мной приведен, но цепь угроз:
Россия стала богадельней
для любящих её всерьёз.

А что стихи?
«Шкафы плацебо!» —
смеясь, ты скажешь.
Но, постой,
не честного ли нынче хлеба
я дал тебе, читатель мой?

Как будто искреннему слову
уча довериться, как знать,
на грязных улицах Ростова
легко ли мне стихи слагать?

FRAGMENTUM SOCIOLOGICUM

«Средний уровень жизни» и – бледность.
«Продолжительность жизни» – и вой.
Мы теперь вымирающий этнос,
что вот так вдруг поник головой,

у которого сердце пробито,
хлещет кровь – и её не унять!
Ведь не флаг нашей кровью пропитан,
а всё то, что смогли мы понять:

жизнь – не годы, и время – не числа,
вера в Бога – не тишь и не гладь.
Человек не любить разучился,
он едва научился… с т р а д а т ь.

Справа храм и геройская стела.
Слева рынок и реки людей.

Ничего невозможно поделать
с этой маленькой жизнью
твоей.

ЧТО ЕЩЕ ВАМ СКАЗАТЬ…

1
Что ещё вам сказать,
Чем ещё вас, друзья, удивить,
Или локти кусать —
Это проще, чем весело жить,
Чтоб, сорвав тормоза,
Чтоб, летя под счастливый откос,
Прошибала слеза
От силлабо-тонических грёз;

2
Но никто бы не знал,
Как твой разум натруженный скис,
Пропуская в финал
Сокрушительный агностицизм:
«Что за свет, что за пыл,
Что за дым расточала, клубя,
Жизнь, в которой ты был,
Жизнь, в которой не будет тебя!»?

3
Тишина к тишине,
Сердце к сердцу, к закату – закат.
Славно вместо кашне
Подарить мне текстильный канат!
Я его подвяжу
Под всеобщий такой потолок,
О котором сужу,
Как о том, с чем ужиться б не смог;

4
А зажить довелось.
И я вновь на московском пути:
Скоро станция Лось,
И я чувствую, надо сойти, —
Чистоганом сполна
Расплатиться за кровь твоих звёзд,
О, Лосиха-страна,
Что легла под Калиновый мост;

5
На семи берегах
За превечный и мастерский лов

Не на хлеб, а на страх
Умной рыбы – речных дураков,
Где рыбацким сачком
Только м*о*йрам махать не с руки,
И несёт тухлячком
От Большой человечьей реки;

6
Впрочем, дух еще жив
И, терпя баснословный урон,
Тянет чудный мотив,
Что когда и за краем времён
Соловьи запоют
И сирень зацветёт навсегда,
Страшным будет не суд,
Страшной будет ненужность суда!

7
Что ещё вам сказать,
Чем ещё вас, друзья, удивить,
Или кузькину мать
Мы не можем, как *Кузька*, любить,
Чтоб не в игры играть,
А, трезвея надеждой скупой,
Не по-детски страдать,
Если мамка зашилась с судьбой?

СООБРАЖАЯ НА ТРОИХ…
фреска

Соображая на троих
под тёрном, яблоней и вишней,
здесь каждый счастлив, как жених,
как гость бесценный, вечер с лишним
и рассуждает, и поёт,
и улыбается, и мыслит,
и облегчённых душ полёт,
что кислород под маркой “Priestley”*!

Среди падений и разрух,
при щедрой власти *Каганата*,
их тосты, скромные на слух,
невольно жгут меня, как брата.
И вот, случайный человек,
какой-то трезвенник-прохожий,
я – мученик библиотек, —
взгляд на седьмой, пью с ними тоже.

Увы! статистика страшна

(тут не двурушничать пора б уж):
великолепная страна
споткнулась о Великий ш*а*баш;
под страшно давящим крестом
на горько пьющих, с их сердцами, —
не социальным ли вином
становятся они же сами?

А впрочем, духом ободрясь,
откроюсь в чём поинтересней:
всю эту пагубную страсть,
не пачканную в фарисействе,
казнящую любую спесь,
печаль кидающую за борт,
не променял бы я на весь
благополучно трезвый Запад.

Чт*о* молвить: *«Не соображай!..»*, —
а может, завтра, вышней волей,
к последней жатве урожай
на диво будет в русском поле,
и примет всё река одна
кристальная в Четвёртом Риме,
всё, разделенное сполна
когда-то этими троими.

_____

*По имени Джозефа Пристли (Joseph Priestley, 1733–1804) – британского священника, философа, общественного деятеля и выдающегося естествоиспытателя, открывшего кислород.

БАРКЛАЙ ПЛАЗА
О. М.

1. 2012
в *тот* год я стал в делах преуспевать
а прежде не везло с учителями
ни стол ни стул ни старая кровать
не дали мне свести концы с концами

как будто время выставив посты
пакет судьбы *здесь* перехватит лично
в столичной жизни мало суеты
когда живёшь по горло нестоличной

и ловишь сны её батальных сцен
в тебе горит музейная свобода
ведь в сущности и этот бизнес-центр
всё тот же дым *12-го года*

всё та же горечь отданной земли
в другой стране во времена другие
в который раз при станции Фили
сражённому булатом ностальгии

да были люди (им уж не узнать
кем и когда погашен свет над нами)
теперь в делах я стал преуспевать
а в прошлом не везло с учителями

2. 2015
участник нешуточной бизнес-игры
я дни провожу у Поклонной горы

я думаю изредка
не горячась
когда бы *ребята* хотя бы на час
и *вам* оглянуться на правду войны
из этой эпохи
из этой страны
когда бы *вам* жизнь на мгновение дать

и
что бы тогда *вы* могли нам сказать

мне кажется чудом явившись из тьмы
вы б гордо смолчали
но слышали мы

оформили память
поставили стелу

но это уже
не относится
к делу

3. 2017
живёт москвА жирует
россиЯ водку жрёт
и это всё скажу я
любви круговорот

преступно жить озлобясь
и вопрошать КУДА
ОТ НАС УХОДИТ СОВЕСТЬ
В КАКИЕ ГОРОДА

***

Фольклорным детством славно закалясь,
кувшин умишка с росписью раскола,
я был поставлен в первый русский класс
в селе лубочном, в избяную школу.

За партой образца «Великий Ост»,
дотоле не сменённого ни разу,
не педагога птицы Алконост
вмещал я сладкоструйнейшие сказы.

И так меня пленял сюжет в одном,
где с каждым днём был *коммунизм* всё ближе,
что захлебнулся мой кувшин вином
их з*е*льной мудрости… А нынче
что я вижу!

На месте красных кущ блатной пустырь,
и Змей Горыныч с Родиной слюбился;
из мальчика не вырос богатырь;
сгорела школа; а кувшин…
разбился.

***

ты в сказке рожден детина
ты правды её не трусь
что в существе едина
да в лицах троична Русь

твой пионерский галстук
выброшен и истлел
партийный билет гораздо
фатальнее не у дел

но ехать на *атах-батах*
ты посчитал за честь
ведь не в любых цитатах
отсвет кровавый есть

гордилась тобой курсантом
колонновожатым мать
не зная как к депрессантам
ты Питер мог приравнять

в горячие те денёчки
с прохладцей плюя на всех
чей стёб кривозубый точно
на ск*о*рбех женить не грех

как в первых же гео-турах
ты счастья развеял пух
споткнувшись на мудрых дурах
из параллельных двух

как страшно при попе голой
работать пошли потом
медалька-луна за школу
картонной зари диплом

и прочие атрибуты
что лажей не сдавят грудь
мы сыты одеты обуты
нам не в чем страну упрекнуть

которая жаждет имя
да только обрящет навряд
зови ж её ощутимо
возвышенней *Каганат*

а лучше не за спасибо
жизнь наперсницу бед
как кровь голубую либо
сдавай как сдают цветмет

иль судя нет не по роже
сам эйдос имея в виду
иди на дымок похожий
как верно уже иду

но именем высшей силы
ежели смерть ни при чём
с Пасхой даймоний милый
новый рассказ начнём

***

посели меня в землях забытых стихов
посмотри и фамильною рифмой на -ов
и любовью к вмещающей много
глубине чернозёмного слога
и тяжёлую скорбь изрыгающим ртом
и смиренным покоем пред всяким скотом
в языке палестинского детства
всем я взял и куда теперь деться
не от первой любви
от последней трубы
так и бьющей наотмашь в библейские лбы
коренных хлебопашцев и прочих

нивы духа детей
и рабочих

принимай Аполлон мой крестьянский гамбит
эту вечную землю питает Коцит
и уносит с *державинской одой*
память жизни и славы народной
где не отчее поле живые овсы
а тугие метёлки голодные псы
безошибочно тупоголовым
указуют нам Слово
за словом

Виктор ЛЕВАШОВ. В остальном – сплошной пиррихий…

***

Устал бесконечно вести переписку.
Простите, мои дорогие друзья.
Уже не могу отвечать я без риска,
что доброй не будет депеша моя.

Поток всё идёт. Я спешу, запинаюсь,
ошибки вплетаю на каждом шагу.
Я очень устал, раздражён. И признаюсь:
в режиме таком я писать не могу.

ОСЕННИЙ ГЕКЗАМЕТР

Что написать шестистопником, рифмой и звуком упругим?
Чем удивить моих опытных давних и новых друзей?
Сам же сказал, что не может быть в метре поэт близоруким.
Сам же клепаю гекзаметром стих безо всяких идей.

Дождь за окном всё шатается и не желает кончаться.
Осень мила мне и в холоде, ветре безумном в ночи.
В пору такую немыслимо и невозможно влюбляться,
но в тишине мне являются к вечным вопросам ключи.

Тьма за окном. Лишь чуть теплится свет костромской автострады.
Жёлтым сканвордом мерцает мне дом за дождём вдалеке.
Люди по лужам проходят и осени явно не рады,
я же стою и не двигаюсь с трубкой «Куэрти» в руке.

Мне телефон и не нужен здесь по назначенью, по сути.
Клавиатура «Куэрти» мне также его не нужна.
Может, маяк он увиденный в тьме непроглядной до жути.
Может, дождя непрерывного тихо растает стена.

***

В батареях зажурчало:
подали тепло в дома.
Вот и октября начало,
вот и близко к нам зима.

Застывают в лужах льдинки.
Холод, ветер во дворе.
И вращаются снежинки
ранним утром на заре.

***

Тучи зависли над крышами спелые,
цвета свинца булавы.
В парке деревья осиротелые
мокнут в рванине листвы.

Блеском асфальта богатые, тёмные
в город пришли вечера.
Мысли, как мухи кругами, никчёмные
бродят в душе до утра.

Осени милой я буду приятелем:
я к её нраву привык.
Щёлкну на ощупь во тьме выключателем:
здравствуй, мой старый ночник.

3 ОКТЯБРЯ

С днём рождения, коллеги!
С Днём Есенина, друзья.
Осень, словно на телеге,
задремала у ручья.

День такой сегодня тихий,
лишь бродяги-воробьи
что-то делят у бадьи.
В остальном – сплошной пиррихий.

Только слышу: «Бах… Бу-бах…» —
сердце бухает в ушах.

***

Шар огненный плывёт над крышей
напротив моего окна.
Он словно клён октябрьский рыжий,
и осень ярко в нём видна.

Дожди всё чаще к нам приходят.
И голубые небеса
сияют редко, полчаса,
как ненадолго распогодит.

Так, словно чувствуя вину,
природа клонится ко сну.

ПЛЯЖНЫЙ БРАХИКОЛОН

Сед
бриз.
Свет —
вниз.

Мерк
луч
сверх
туч.

Плыл
шар,
лил
жар.

Газ
жёг:
глаз —
в шок.

***

Осень. Ночь. Сижу на кухне,
жду: вот чайник закипит.
И конфорка не потухнет:
чайник я сниму – пиит.

Ведь не все поэты странно
в мыслях бродят, чудаки.
Чайник уж свистит. И славно
в нём шныряют пузырьки.

Чайник подниму пузатый,
стих закончив на листе.
Дует ветер полосатый,
и рисует снег глиссады
за окошком в темноте.

Влад ПЕНЬКОВ. Ладонь судьбы по-русски

КЛАССИКА

Брату Руслану

Мы с тобою уже старики,
мы с тобою классической школы.
Молодёжи смешны парики,
пудра, трости, поклоны, камзолы.

Только там – под камзольным шитьём
и рубахой из тонкого шёлка —
было выжжено белым огнём
сообщенье старинного толка:

«В барабаны гремела гроза.
Ржали лошади. Ядра летели.
Мы от страха закрыли б глаза.
Но в последний момент расхотели.

И на знамени белый цветок
не запачкан, хоть грязью заляпан».
Мир жесток? Безусловно, жесток.
Чаще бошки слетают, чем шляпы.

Хуже только, что ноги не те,
что болят до холодного пота,
до дрожания на высоте —
роковой высоте эшафота.

КОНЬ УНЕС ЛЮБИМОГО

Кварты, квинты, септаккорды,
в небе ласточка летит.
Тот, кто любит, тот не гордый.
Тот, кто любит, тот простит.

Оседлает иноходца
и ускачет навсегда.
Тот, кто любит, не вернётся.
С потолка течёт вода.

Руки стынут, стынут губы.
Кварты, квинты, септаккорд.
Трубы, лютни, лютни, трубы,
осыпает листья норд.

Скоро белым-белым пухом
всё засыплет в декабре.
Кто ушёл – ни сном ни духом,
ни рукою в серебре

не коснётся струн, плеча ли.
Всё простил он. Белым днём
волны снега и печали
занесли его с конём.

МОТОЦИКЛИСТ

Я тебя, любимая, покину,
заскольжу над гладью тёмных вод
белым пароходом – в Аргентину,
золотистой тучей – на заход.

В Аргентине призраки живучи.
В Аргентине тени пьют вино.
Вечером показывают тучи
экспериментальное кино.

В Аргентине всё не так, как прежде,
будет. Утону в её траве.
Ну а то, что места нет надежде,
это просто мысли в голове.

Голова ко всякому привыкла,
сердцу же вообще родней печаль
в отдалённом треске мотоцикла
юного астматика-врача.

ШОТЛАНДСКОМУ КОРОЛЮ

Кончаем тары-бары —
народец слишком прост.
Малютки-медовары
не встанут в полный рост.

Не выучат законов,
не создадут стихов.
Течение сезонов —
порядок их таков.

Возьмите волкодава
и соберите рать.
Народец этот, право,
не станет воевать.

Они умрут, как дети,
травою на ветру
полягут люди эти,
всё кончится к утру.

И лишь один, с пелёнок
обученный играть,
какой-нибудь ребёнок,
не станет умирать.

Пройдёт сто лет, и триста,
и тысяча пройдёт,
его дуделка свистом
на берегу поёт.

Колышут волны дико
огромные моря,
а он – как земляника,
как вереск и заря.

И кто придёт на берег,
услышит этот свист.
И кто придёт, поверит,
что навсегда флейтист.

Собачья морда брызжет
горячею слюной.
И с каждой каплей ближе
безжалостный убой.

Но что вы ни умейте,
останетесь в долгу —
вам не играть на флейте
на страшном берегу.

СПОР
Наташе

Когда кочевники кочуют,
когда ночлежники ночуют,
пока Земли тоскует остров,
надежда есть, что всё непросто.

Надежда есть на камни Рима,
на флорентийские окошки,
пока вся жизнь проходит мимо
походным шагом многоножки.

Пока стоит Москва, а Волга

впадает в детство, в руки, в море.
Кто мне сказал, что мне недолго?
Кто мне сказал, чтоб я не спорил?

Вот кто-то проблестел доспехом.
Вот кто-то смешивает краски.
Вот кто-то отвечает смехом
моей опасливой подсказке.

Я завтра утром выйду в город,
куплю вино для музыканта,
который саблей был распорот
в морском сраженье у Лепанто.

Мы будем пить и слушать песни.
Как мало надо нам для неба —
родись, живи, умри, воскресни,
купи вино, отведай хлеба.

РУССКИЙ
Е. Ч.

Снега лежат свинцово,
но всё за них отдашь.
Дрожит в руке Рубцова
огрызок-карандаш,

а может, авторучка —
не важно, до балды.
Вчера была получка.
Вчера купил еды

и, чтобы веселее
жевался бы кусок —
поэтского елея
купил, пшеничный сок.

Который год, как будто
я это всё несу —
североморским утром,
в тринадцатом часу.

Лежат снега повсюду,
свинцовые снега.
Поешь, помой посуду,
потом прости врага.

Сядь у окна и слушай,
листая книгу, как

пришёл к тебе по душу
январский полумрак.

Колебля занавески,
он входит, не таясь.
При чём тут Достоевский?
А с ним какая связь?

Но в этой вот юдоли —
обои зелены —
всё русское до боли.
Садитесь, пацаны,

за столик колченогий
и, содвигая лбы,
давайте – о дороге,
о каверзах судьбы.

Хотя б о том, что спички
промокли. Дай огонь.
О том, что в рукавичке
узка её ладонь —

ладонь судьбы по-русски,
все линии – в хаос.
И дальше – без закуски
и в дымке папирос.

В ДОРОГЕ

Куда убегает дорога,
в какой скандинавский туман?
Профессор, вы прожили много.
Вы помните запах полян?

Стучит тёмно-синяя жилка
в закрытые двери виска —
за ними одна старожилка,
одна приживалка – тоска.

Ни боли, ни сильного духа
не надо. Их выгнала вон
худющая эта старуха,
противница этих персон.

И вот вы сорвались в дорогу.
Зачем? От чего убежать?
Хотите вернуться к порогу?
На свежей траве полежать?

Проснуться от детского крика?
Сказать вы хотите сейчас —
рассыпалась вся земляника.
А я её, дурень, не спас.

Не знаю – от скуки, от лени,
в отключке, во сне, в мираже?
И вот я встаю на колени —
собрать, что пропало уже.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Руслану

Лев Николаич уходит из дому,
по бездорожью сплошному скользя.
Солнце впадает в осеннюю кому.
Можно без солнца. Без света нельзя.

Свет – это что? Или Кто? Или это
просто полоска любви надо всем,
узкая-узкая тропка рассвета.
Сколько тревоги в такой полосе?

Поезд в Ростов отбывает с вокзала.
Выплюнет дым, поперхнётся гудком.
Поздняя осень врасплох нас застала.
Поздняя осень стучит молотком

в крышку толстовского скромного гроба.
Колокол. Тронулись. Горькой налей.
Станции, станции, доза озноба, —
осенью это стократно родней.

Художественное слово: проза

Дмитрий ЛАГУТИН. Лишний воздух

Рассказ

Кирилл И., молодой человек двадцати четырех лет, выпускник юридического факультета, вот уже два года занимающий должность юрисконсульта в небольшой строительной фирме, лежал на продавленной больничной койке во второй палате торакального отделения, расположенного на девятом этаже областной больницы, и безуспешно пытался уснуть. Уснуть ему мешали два обстоятельства: дренажная трубка, выныривающая из-под шестого ребра, задирающая футболку и спускающаяся к банке с мутной водой, и храп одного из обитателей палаты – грузного немногословного милиционера с пластырями между ключиц.

В палате было темно и душно, но Кирилл лежал в самом углу, и от окна к нему ползли струйки колючего февральского воздуха. Сухой редкий снег скребся в стекло, и на спинки коек, на умывальник, на тумбочки и узкий шкаф у двери падали дряблые бледные полосы света.

Дренажная трубка не позволяла Кириллу лечь на бок, и он пытался уснуть, лежа на спине, чего не практиковал с детства. Банка с мутной водой была подвешена на крюк, выглядывающий из-под матраса и, в свою очередь, подвешенный к перекладине койки. Если Кирилл вдруг кашлял, по трубке в банку спешили пузырьки – лишний воздух выходил из плевральной полости, позволяя легкому дышать свободно.

Милиционер храпел так, что дрожали на тумбочках чашки – раскатисто, яростно, во всю мощь своей огромной грудной клетки. Казалось, во всем мире не осталось никаких звуков, кроме храпа, и его слышат сейчас во всех уголках планеты и за ее пределами – на орбитальной станции, например. То и дело в палате кто-то кашлял, вздыхал горестно, тянул из-под одеяла руку и стучал по изголовью, по тумбочке, по чему придется. Храп прерывался, прислушивался, оценивал ситуацию и рокотал с новой силой. Будить милиционера никто не решался.

«Да и зачем? – думал Кирилл сквозь сонное марево, которое клубилось, принимало причудливые формы, но никак не могло сомкнуться. – Не заставишь же его не спать до утра, все равно захрапит. Кивнет головой, извинится и захрапит».

Кирилл смотрел в потолок, старался не кашлять, прислушивался к тянущей боли в боку и думал о том, что человек привык воспринимать свое тело как нечто замкнутое, вроде обтекаемой сферы, и как же странно чувствовать, что замкнутость эта нарушена, что между абстрактными какими-то там внутренностями, – далекими, не вполне понятными, не похожими на то, что рисуют в учебниках, – и внешним миром проложен мостик, по которому путешествуют неизвестно зачем, представьте себе, пузырьки.

Сон обступал туманом, застилал потолок, потолок начинал дрожать и выгибаться, храп замедлялся, веки Кирилла смыкались, мысли обрывались, и в образовавшуюся пустоту спешили образы. Подошел исполнительный директор, попросил еще раз проверить цессию. Системный администратор позвал курить. Спросила, где лежат билеты в кино, Оля, невеста, без пяти минут жена, – показала кольцо, посмотрела сквозь него на Кирилла.

Над стеклянной крышей офиса сверкнула молния, заворчал гром, покатился по небу, делаясь всё громче и громче, – образы растаяли, и снова навис над Кириллом белый потолок, и не было в палате никого и ничего, кроме белого потолка, храпа и трубки, по которой бегут пузырьки.

Потом втиснулся откуда-то Сергеич, семидесятилетний старик со сморщенным серым лицом – заскрипел кроватью, привстал, посмотрел на милиционера и хрипло выругался.

Из коридора под дверь тек тусклый желтый свет. Сергеич в полумраке выглядел страшным, волосы его были всклокочены, одно плечо – выше другого. Он медленно повернул голову и встретился взглядом с Кириллом. Глаза его, глубоко спрятанные в сморщенное лицо, блестели.

– Сдохнуть можно, – он кивнул на милиционера, закашлялся, прижал к губам кулак, долго хрипел и вздрагивал, а потом медленно лег.

Кирилл закрыл глаза. Храп снова превратился в гром, потом в рев мотора, потом в рев зверя, потом в гул, потом в звон, Кирилл почувствовал, как падает куда-то вниз, вытянул ногу, чтобы нащупать выступ, нащупал, тут же сорвался, вздрогнул, – не вздрогнул, а дернулся так, что скрипнула кровать, – и открыл глаза.

Голова гудела, казалась тяжелой, бок заныл сильнее – организм не мог привыкнуть к дренажу, сопротивлялся, выражал недовольство.

Кирилл стянул с себя одеяло, облокотился на левое плечо, спустил босые ноги на пол. Нащупал рукой веревку, которой была обвязана банка и на которой висела, снял ее с крюка и сел на кровати, сморщившись от резкой боли.

В окно сыпался щепотками снег, похожий на соль. Небо было черное, затянутое облаками. Пахло потом, табаком, колбасой и средством для мытья посуды – на ободке раковины лежала пухлая от пены губка. Кирилл дотянулся до скомканных спортивных штанов, кое-как влез в них, орудуя одной рукой и далеко отводя вторую – опасаясь зацепить банку – нашарил тапки, сунул в них ноги и встал.

Перед глазами плыли круги, во рту было сухо и кисло.

Шаркая, он прошел до двери, зацепил коленом чью-то руку, рука дернулась и втянулась под одеяло, как улитка. Сергеич поднял лохматую голову.

– Гулять? – прохрипел он.

Кирилл кивнул.

Сергеич покосился на милиционера, лицо его скривилось. Милиционер спал, раскинув могучие руки в стороны: рот был распахнут, грудь поднималась и опускалась, выталкивая из себя грозные звуки.

Кирилл надавил на дверь, она скрипнула и отворилась. Кирилл шаркнул через порог, закрыл дверь за собой, прищурил глаза. На столе дежурной медсестры горбилась лампа, от нее разворачивался, упираясь в обе стены, широкий желтый овал – яркий и густой. За пределами овала, казалось, было совсем темно.

В конце коридора кто-то стонал. Кирилл присмотрелся и увидел старика в инвалидном кресле, которого привезли в соседнюю палату вечером. Старик сидел, закрыв глаза и опустив голову на грудь, лицо его было спокойно и неподвижно – только по стону да по сведенным к переносице бровям можно было понять, что ему плохо.

Медсестра сидела за столом и что-то писала в толстой потрепанной тетради. Услышав, как стукнула, затворившись, дверь, она подняла голову и посмотрела на Кирилла. Он махнул рукой, кашлянул, скривился.

– Не могу спать, – сказал Кирилл, подходя к столу. – Храпят там…

Медсестра пожала плечами.

– Садись, посиди.

Она показала на стул сбоку.

– Не хочется чего-то, – сказал Кирилл.

Он подался вперед и спросил, кивая на старика:

– Что такое?

– Тяжко ему, – ответила медсестра. – Спать не может, и другим не дает. Выкатили. Утром на операцию.

Кирилл поежился.

– Я это… – показал он в другую сторону, на вытягивающийся вправо коридор. – Пройдусь.

Медсестра снова пожала плечами.

– Только не на улицу.

Кирилл выдавил улыбку.

– Я не шучу, – сказала медсестра. – Потом ходи вас ищи. И охраннику достается.

Кирилл заверил, что на улицу и не собирался – в таком-то виде! – и заковылял по коридору. Дойдя до широкого проема, за которым светилась площадка перед лифтом, он оглянулся на старика, которого теперь трудно было разглядеть, и свернул.

Площадка была квадратная, застеленная плиткой, ярко освещенная, с высокими черными окнами и дверью, через которую можно выйти на лестницу. Дверь была приоткрыта, и в щель ползли волны ледяного воздуха.

Было свежо, и пахло почему-то йодом.

Кирилл подошел к окну, отодвинул рукой невесомую занавеску. За ней было темно, вставал сбоку еще один больничный корпус, несколько окон горели белым, тянулся до ограды широкий тротуар. За оградой блестели крыши автомобилей, за ними был парк, за парком поднимались и шли стройными рядами пятиэтажки, а вдалеке был виден железнодорожный мост, ярко освещенный прожекторами.

Вдоль тротуара и у ограды горели редкие фонари, но от них ночь казалась еще темнее, и смотреть на них Кириллу было почему-то грустно. С неба сыпался снежок, ложился тонким слоем на газоны, на тротуар, на автомобили, но не сиял, не светился белым, а лежал тускло и сухо.

Кирилл дышал на стекло, из-за мутного, в капельках, пятна смотрел на дома, на мост, на снежинки, прилипшие к стеклу – и ему было одиноко. Ныл бок, банка оттягивала руку.

Обернувшись, он привалился к подоконнику, кашлянул и проследил за тем, как путешествует по трубке серебряный пузырек.

С этой стороны – над проемом, ведущим в коридор – блестела в лучах ламп икона. Кирилл вспомнил, что точно такая же – святого Пантелеимона – висит в углу бабушкиной комнаты, в Новороссийске. Тут же вспомнилась ему крошечная квартира с низкими потолками и бамбуковыми шторками вместо дверей, на первом этаже. Вспомнился горячий соленый воздух, шум моря, долетающий до раскрытых настежь окон, пышные кусты с толстыми мясистыми листьями, жмущиеся к подоконнику. Кирилл вспомнил свой прошлый приезд – два года назад, с матерью и младшим братом, без Оли, они только-только познакомились – вспомнил, как не хотел оставаться, как ему было скучно все три недели, как надоело слепящее солнце, духота, острая галька на берегу, продавцы жирных беляшей, перешагивающие через загорающих, как хотелось домой, к Оле, к прогулкам в сквере, к провожаниям и к походам в кино.

Вспомнил, как обрадовалась бабушка, узнав, что он устроился на работу, как расспрашивала, хорошо ли к нему относится начальство, не сильно ли он устает, как гладила его по голове, словно ему не двадцать два, а двенадцать. Кирилл сидел на диванчике, чувствовал себя неловко, но рассказывал, рассказывал и рассказывал, потому что видел, что всем от этого радостно – и бабушке, и матери, и даже младшему брату, который теперь тоже хотел идти в юристы.

Вспомнилось, как ночами соскальзывал с подоконника, выбирался дворами на узкую набережную, спускался к морю и подолгу слонялся, загребая ногами гальку, как курил одну сигарету за другой, сидя на шершавом парапете и глядя на вздыхающее прибоем море. На набережной горели огни, играла музыка, кое-где танцевали – и Кирилл ходил взад-вперед, раз-

глядывал смеющихся людей, загоревших, веселых, не желавших идти спать, и ему было тоскливо оттого, что он здесь один, что ему не с кем танцевать, не к кому обратиться, перекрикивая музыку, некому пронести от барной стойки тонкий запотевший бокал.

На лестнице загудел ветер и Кириллу показалось, что ноги по щиколотку погрузились в холодную воду. Он вышел к лестнице, спустился на один пролет и приник к открытому на проветривание окну. Щеки защипало, глаза заслезились от ветра. Кирилл отпрянул, с губ слетело облачко пара. Он спустился еще на пролет – здесь окно было закрыто – сел на нижнюю ступеньку и поставил банку на пол. Вытянул левую руку, сжал в локте, разогнул, поиграл пальцами, словно проверял – хорошо ли работает? От окна на ступени падал бледный свет, перетекал с одной на другую, рассеивался. Было тихо, Кирилл слышал свое дыхание, ныл бок, в окно был виден угол соседнего корпуса с темными окнами, и не верилось, что есть где-то море, галька и узкая набережная, заставленная ресторанами. Не верилось, что скоро свадьба, что составлен уже список гостей, что выбран ресторан и ведущий, что Оля уже мерила платье – и только вставало перед глазами ее бледное лицо, с которым она вошла вчера утром в палату, с которым смотрела на банку, трубку и пузырьки.

Где-то внизу раздались голоса – поплыли с этажа на этаж, сливаясь и путаясь, потом исчезли. Отозвалась гулким эхом хлопнувшая дверь, а когда эхо растаяло, повисла плотная, давящая тишина. Кирилл стал думать о свадьбе, считать гостей, столы – но мысли обрывались, спотыкались, отказывались идти, куда им было велено, а от банки падала на кафельный пол мутная полупрозрачная тень, упиралась в ступеньку, залезала на нее краешком. Одно из окон в соседнем корпусе зажглось, выгнувшись желтым светом, но почти сразу погасло.

Кирилл взял банку, встал, потянулся – так, что захрустела шея – и поднялся на свой этаж. Прогудел мимо, не остановившись, лифт – и Кирилл снова услышал далекие голоса.

Коридор показался узким, было душно. Низкие белые двери уходили в обе стороны, некоторые были приоткрыты. Медсестра сидела за столом, писала в тетради, лампа ярко освещала лицо. В конце коридора, во мраке, едва угадывался силуэт старика. Слышно было только, как скрипит по бумаге авторучка – стонов не было. Кирилла бросило в пот. На ватных ногах он подошел к столу и вопросительно посмотрел на медсестру.

– Уснул, – успокоила она.

Кирилл выдохнул.

– Может, его это… в палату вкатить?

Медсестра, не переставая писать, мотнула головой.

– Пусть спит, – сказала она шепотом. – Как прогулка?

Кирилл развел руками, опустился на стул.

– Что вы пишете?

Она на секунду остановилась, потом ручка снова заскрипела.

– Учеба.

Он кивнул и спохватился вдруг:

– Я не мешаю?

– Сиди, мне-то что? Только не шуми.

Он замолчал. В одной из палат кто-то закашлялся. Слышно было, как дышит во сне старик, как едва различимо гудит на лестнице ветер. Медсестра писала, время от времени заглядывая в огромный учебник, закрывающий треть стола. Кирилл смотрел на прыгающую по странице ручку, у медсестры было осунувшееся, с острыми скулами лицо, вокруг глаз – круги, но глаза, то вспыхивающие светом лампы, то гаснущие под ресницами, были живыми, сверкающими, и странно было видеть их в тесном больничном коридоре, среди белых дверей, кашля и банок с мутной водой.

Медсестра замерла, выпрямилась.

– Вот, – вздохнула она, – ручка закончилась.

Она пригладила волосы, кончиками пальцев надавила на виски и закрыла тетрадь, оставив закончившуюся ручку зажатой между страниц.

– Хватит на сегодня, – она посмотрела в сторону лифта. – Там окно открыто, что ли?

– Да.

– Это хорошо, духота такая.

Кирилл кивнул.

Медсестра пошарила в нише стола и выудила яркую книгу в мягкой обложке. Долго искала нужную страницу, а когда нашла, положила книгу перед собой, подперла щеку кулаком и стала читать.

Он почувствовал себя неловко.

– Послезавтра отдавать, – сказала медсестра. – А я только на середине.

– Интересно?

– Очень.

Кирилл выставил вперед руку с банкой и встал.

– Пойду я.

– Хорошо.

Ветер на лестнице загудел громче. Кирилл перешагнул коридор, взялся за ручку, потянул, его тут же обдало терпким запахом пота.

– Оставь так, а? – услышал он хриплый голос Сергеича. – Дышать нечем.

Кирилл вошел, придержал дверь, чтобы она не закрылась.

Милиционер уже не храпел – лежал на боку, свесив руку до самого пола, и дышал ровно, как ребенок. Сергеич привстал на локте, потянулся к тумбочке, передумал, вздохнул и улегся, отвернувшись к стене.

Кирилл прошел к своей койке, сел – койка отчаянно заскрипела – повесил банку на крюк. И долго сидел, глядя в щель между занавесками, – хотя кроме черного неба и редкой снежной крупы видно ничего не было. Потом сунул руку под футболку, нащупал тугой узел из пластырей и бинтов, постучал ногтем по теплой сухой трубке.

Из коридора в палату тянулся прямоугольник света, карабкался по дужкам коек, мялся на чьей-то простыне, выхватывал из темноты огромную руку милиционера. Кто-то заворочался, заскрипел кроватью. Кирилл почувствовал, как по ногам протянуло прохладой, вспомнил лестничную клетку, лифт, икону, вспомнил, что в бабушкиной комнате перед иконами горит лампада – маленький красный огонек. Снова вспомнились море, гудки пароходов, шорох загребаемой прибоем гальки.

Как был, в штанах, он улегся и закрыл глаза. Тут же его закружили образы, тело налилось сладкой тяжестью, даже бок перестал ныть. Кирилл сосчитал до десяти, удивился ясности мыслей и уснул.

Судовой журнал «Паруса»

Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись тринадцатая: «На Мологской улице»

Я вышел из бедной могилы.
Никто меня не встречал…
Андрей Белый

Дороженька дальняя, раскатистая – раскаты широкие, ухабы глубокие… Если бы встала, до неба достала, если бы был язык – всё бы рассказала… Дорога-Молога с её подводными тайнами… и частушкой:

Сицкари идут дорогой,
Хомуны по сторонам.
Вы не бойтесь, толстопузые,
Не будет худо вам!

Сицкари – жители деревень по берегам реки Сити. А кто такие *хомуны* – теперь редко кто уже знает. Только в конце дороги-Мологи выкопана берестяная грамота с выцарапанным на ней счётом: «На Селигере за Хомуном да за Дроздом пять гривен без куны»[1]… Кому он, Хомун тот, девятьсот с лишком лет назад задолжал?.. И выплатили ли они те пять гривен? – Молога-дорога скрывает… Ответ тлеет на другой бересте где-то в волжской глубине… А душа, мечтательно гадая о нём, сливается с таинственной неизвестностью и сердцем видит чью-то иную душу, будто сама *земля, забившая рот усопшим, переполняет нас и начинает говорить, глаголы недр у смерти отбирая…*[2]

Но избави нас от всех озлобити нас ищущих, видимых и невидимых враг, не уклони сердца наши в словеса или помышления лукавые… Вопрошать мир невидимый по силам лишь мужу хитроумному. Вот Одиссей вырывает яму в земле, лаз в Аид:

Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал;
Черная кровь полилась в неё, и слетелись толпою
Души усопших, из темныя бездны Эреба поднявшись…

Тени мертвых, хватив живой крови, обретают голос, могут предсказать и будущее… А сколько же крови пролито и сколько ям в земле заполнено ей со времен Гомера? А что если теперь сытые тени самохотно восходят в ум к потерявшему веру в Аид человеку? И первыми, конечно, тени, алчущие озлобить нас, мстить, чуя *скорбь и болезнь и прегрешений безмерное множество, души же озлобление и умное прельщение.*

И соблазняют живых – убить, ограбить, отомстить, поджечь скорей…

Хотя бы вот так:

«Чья же это на отшибине могилка, заросшая тощими, выродившимися незабудками?.. Уж не моя ли?.. Или только похожа на мою?.. Опять, как дьявол, черный пудель, выскочив из-за свала старых венков во рву, норовит броситься мне на грудь. Кладбищенский сон лета – солнечно-белоцветен от душистой таволги, и в нём грезит молниями волчец своими фиолетовыми фитильками, и тихо шепчет с того света глина красная, что когда-то была живыми сердцами. Разрушены склепы, скувырнуты памятники. И куст бузины, свесившийся над ржавой кровлей церкви, душит пламень серафимских крыльев вверху, на стенной росписи свода…

Сворачиваю с кладбища на улицу Мологскую, туда, где твоя в шиповнике ограда, а за оградою – старый дом с верандой, предпоследний перед оврагом, которым покато обрывается улица. В старину если улицу называли Мологской, то это значило, что она выходит на дорогу к городу Мологе. Его же безжалостно затопили в 1940 году, когда в Волге подняли воду, а теперь лицемерно сравнивают со святым чудесным городом Китежем…

Я иду по уютной тропке, глядя на одуванчики. Старые воспоминания полувидимыми образами, тенями без лиц, набегают, окутывая меня. Угловой ярко-желтый домик низко скособочился маленькими оконышками; тонет в земле. Рябина, космы спутанные берез, крапива у заборов. Крест чертополоха раскинул свой суставчатый размах, будто распял чью-то невидимую судьбину. Чья кровь в запекшихся штырях его соцветий?.. Домики чуть ли не на наполовину просели в затравенелую улицу: как во сны земли, вросли и в мою душу. Иных миров салатным взором два кота, друзья уездной темноты, знакомо встречают меня с высоты приворотных столбов…

В “большой комнате”, как называют горницу, синий продавленный диванчик, потемневший буфет старинной резьбы с головками Амура, ножная машина “зингер” – память о матери, учительнице; отец, пулеметчик, погиб в первых же боях на фронте. Хозяин – влюбчивый холостяк, пьяница, когда-то, еще при Лаврентии Павловиче или чуть позднее, его выгнали за пьянку из Саратовского училища МВД. Один дед был у него бурлаком, другой матросом, участвовал в Цусимском сражении и переписывался с Новиковым-Прибоем, уточнял для него подробности. В последний раз ответ ему написал и только вышел из калитки на почту отправлять, а навстречу почтальон – несет “Правду”: открыл – некролог: умер Новиков-Прибой!.. Плещут холодные волны, бьются, затопляя двор… Не скажет ни камень, ни крест, где легли…

Опять на сердце дождик хмурый… Не размотать клубок судьбы… Ну, еще по стопочке для поднятия духа! Трава огуречная, душистая, петрушка мелко нарезаны… Лук деревянного Амура с дверцы резной буфета – все целит и целит в меня стрелой… А романсовый граммофонный голос нашептывает мне из красной глины:

Пу-уска-ай ма-а-ги-ла ми-ня-а на-а-ка-а-жит
За-а то, что я-ати-бялю-блю-у!.....
И п-у-сть на кре-е-ст мне тво-о-й ша-а-рф на-вя-а-жу-ут,
Ша-арф га-а-лу-бой… ша-а-рф га-а-лу-у-бо-о-й…

Тоска – прозрачна, как пустая уже бутылка эта на подоконнике, а в окно к нам глядят сквозь смутное стекло цветы шиповника: тёмно-золотистый, как вино, влажный закат во дворе…

Зачем хозяин столько курит, краснолицый, толстоносый – про синие очи говорит? А во дворе в сизой хмури уже разливается таинственный покой… Но разве я ему поверю? Внук бурлака!.. А бурлаки – все пьяницы! Да и отец его – *заведующий роно,* раз поехал сельскую школу инспектировать в Николо-Корму и так напился, наинспектировался, что провалился в дыру отхожего места. Пришлось жену со сменой одежды вызывать. Сидел нагишом в бане, пока до жены дозвонились, и она приехала и переодела его во все чистое. Случилось это еще перед войной, но в Николо-Корме до недавних пор случай тот поминали… Так из старины, изнутри – всё шепчет и шепчет мне красная глина… И шепот её тяжело проникает в кровь, наливает меня тяжестью и ненавистью… Мне ясно всё. Вопросов – хватит!.. Пора!.. Ну, что, не узнаешь меня?..

Дай ему бабашку! Бутылкой по башке!..

Пытаешься встать со стула?! На, Антон, не кашляй!..

Мало ему нашей трепанины?! Угости ещё…

Что – наелся? – обору нет!..

Теперь подхватывай его под папорки и… на кровать… Да откуда же столько людей в дому набралось?.. Это же всё мертвые!..

А это уж у кого что водится – каждому свой вод*:* у вас живые, у нас – мертвые…

…Я ухожу – многоочитым звездным зверем на грудь во дворе вспрыгивает ночь. Опять ведет тропинка меж крестов… Ему-то с веранды до кровати – пустяк: дуэльных семь-восемь шагов… Немного больше, чем от чайной до милиции – только улицу перейти… Но он уже их не сделает… Помнишь – в первый год из училища в отпуск-то приехал, а?.. Сидел в чайной. Там перцовкой в разлив торговали, а за соседним столиком шофер в компании выпивал, и разговорился: что нынче-де за наркомы?! Вот я возил наркома – так это был нарком: Троцкий!.. А на другой день этот шофер исчез… Ты его и заложил же, а? *Постукивал* – потому тебя по блату и в милицию пьяного не забирали…

Ты меня не обманывай, я знаю, чей ты портрет в столе прячешь, зачем, влюбленного играя, про синие – синей осота – очи говоришь… Ведь мы давно не люди – духи! Всё понимаем и – молчим!.. Лишь лопухами крыльев тихо шуршим кладбищенской тропою. И расплываются на небе, как в воде, такие звезды! – заплачешь – станут утешать!.. Китеж – Божье чудо, а Молога – наш, рукотворный Антикитеж!.. И вся Россия теперь – Мологская улица. И я – не я, а чья-то личина в старом пиджаке: не живая, но и не мертвая – лишь время, попавшее в ловушку, бьется на запястье в часах… И всех этих крыш, заборов, лопухов, крапив – давно уж нет… Они лишь обман для слабого духа, призрак твой, Россия! Настоящая-то давно скрылась, стала невидимым местом… Китежем подлинным, Божьим, а не поддельным, рукотворным!..

Чего я жду, чего я ищу в звездном размытом тумане подводного кладбища?.. Как страшно здесь, на дне, быть забытым Богом! И возводить очи мертвые, размытые на призрачные звезды! И где какой-то заключенный бордовой глиной завалил мой гроб, встал я, уперся: да как же ты меня-то оставил, мою душу вечноживую забыл похоронить, а?!»…

…Хотя бы вот так, да!.. Иначе откуда же являются эти образы, ищущие озлобить, мысленно осязая, давя нас изнутри?.. Из какой ямы?.. Что за липучка, приманка для убийц повешена в наших душах, на которую летят и бьются, и жужжат, как мухи, в сладком клею они? «Сна нет, всё лезет и лезет в голову» – жалуются люди на Мологской улице.

Кабы было всё не так!.. «А ведь хозяина-то старого домика нашли – мертвым! Лежал на кровати, лицо разбито и на теле следы побоев, нога переломана. Видно, выпивал с кем-то поздно вечером – его и измолотили до полусмерти. Ночью, слышали, как приезжали к нему на автомобиле, и собаки выли, но это, оказалось, к соседу, Остроумову, а собаки выли у Сашки Коровина. Дела в прокуратуре, конечно, не возбуждали, да и кто за пьяницу хлопотать будет? Когда копали ему могилу – наткнулись на чей-то гроб безымянный, но недавний, еще не гнилой – так на него гроб и поставили…

Могила его в тощих, выродившихся незабудках – как те маленькие синие человечки, что набежали, вскарабкались ему на грудь, обсели, когда он простонал в последний раз: *почему такая агрессия?* И не о том же ли тихо шепчет из глубины красная глина, бывшая когда-то русскими сердцами?..

После всего случившегося сосед Коровин из крайнего к оврагу домика вспоминал, что в тот вечер он выходил собак кормить, он был охотник, и слышал, что у Веселухи (так покойника на улице прозвали) гости, и творили всё не дело какое-то. Сначала какая-то дамочка Веселухе выговаривала, бранила, потом смеялись и пели все вместе, прихлопывая по столу, смешную песню: (Да вот получилось-то – не смешно!).

А ес-ли-и ты ля-жишь в ма-а-ги-и-лу
И бу-ди-и-шь в ма-а-а-ги-ле ли-и-жа-а-ть,
Я-а ста-а-ну-у прид ней на-а ка-а-ле-ни-и
И бу-ду-у ма-а-ги-и-лу-у лаб-за-а-ть…

И стукнуло калиткой – женщина в синем сарафане ушла – из окна видел. А когда Коровин выходил еще по свету на колодец и пока воду черпал, то пьяный Веселуха балаболил кому-то бестолково: “Ты кто? – ты Иван Анатольевич или – не ты?.. Ты во всём моём!.. Ты – как я! И валенки с галошами, как у меня!.. Народный контроль – в действии!”

Он же, Веселуха, только последние годы с топором и лопатой ходил, столбы придорожные ставил, а до того, как из партии за пьянку исключили, работал в районном комитете народного контроля. Серые же валенки с галошами – его домашняя обувь зимой и летом – были на нём…

Коровин посмотрел телевизор и уснул, а больше ничего не слышал, и как собаки выли, и как машина приезжала к Остроумову, или молчал, чтобы дело в тихости в добрый конец привести. Сосед Коровин, тот самый, что зимой, в пожарное время, сгорел вместе с домом своим, крайним к оврагу. В самый Новый Год загорелось, народ гулял. Собрались, глядят, как пожарные тушат, спрашивают: а где же хозяин? А он куда-то в гости ушел, говорят по народу. А Коровин там был – в огне. Только на третий день *костляк* нашли в золе и головешках. А собаки – убежали.

…Дорога дальняя, дорога-Молога – встала, но не вверх, до неба, а вниз, – и там, во глубине, до стены иного времени, до стены иной страны достала… и *всё* мне рассказала. И голос её был грозен, а слова во тьме – как из крови и света… Но —

…но толпою бесчисленной души слетевшись,
Подняли крик несказанный; был схвачен я ужасом бледным,
В мыслях, что хочет чудовище, голову страшной Горгоны,
Выслать из мрака Аидова против меня Персефона».

Примечания:

[1]*См. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М. 2004. Стр. 241–242. Грамота № 526 (вторая треть XI века). Знак вопроса перед словом* **Хомун**.

[2]Из стихотворения поэта Владимира Гоголева, убитого неизвестными в Подмосковье в конце марта 1989 года.

Литературный процесс

Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)

***

Слово настигнет тебя во сне,
Если оно – огонь…
Снова зудит о моей вине
Местная шелупонь.

Я-де когда-то пред ней дрожал,
Ну а теперь – давлю.
Я-де когда-то врагов топтал,
Ну а теперь – люблю.

Я-де шагаю который год
Нагло, поверх голов…
Полноте! Это земной расчет,
Он недостоин слов.

Слово должно беспощадно жечь,
Жечь сквозь века и сны.
Коль не дана вам такая речь –
Нет здесь моей вины.

Что обижаться на слабый зуд
В сумраке бытия!
Ваши слова никого не жгут,
Вам не сказать, как я.

Значит, обиды зажав в горсти,
Жрите себя живьем.
Значит, забыв о своем пути,
Думайте о моем…

Никогда я терпеть не мог провинциальную окололитературную шушеру, всех этих «поэтов тусовки», еле-еле научившихся рифмовать, но публикующих книжку за книжкой и напыщенно дающих оценки всему и вся. Непременно участвующие во всех губернских «литературных мероприятиях», заискивающие перед любым местным остепененным преподавателем и, уж тем паче, перед «столичным критиком», они в 80-х и 90-х годах частенько вились около меня, надеясь если не получить теплое местечко в редакции, то хотя бы угоститься за мой счет. А если и не вились, то тесная городская жизнь и необходимость выживания в провинции сталкивали меня, так или иначе, с этими тусовочными сочинителями, вынуждали общаться с ними, брать их на работу в газету, редактировать их книжки, а подчас и годами бедовать вместе.

В житейском обиходе, в той же редакционной суете эти господа и дамы, надо признать, порой оказывались на месте: многие из них были ответственны, деятельны, прямодушны. Но вот их версификационные опыты просто не лезли ни в какие ворота: то унылые завывания «под Ахматову», то ребусы на пустом месте, то натуральный бред сивой кобылы. И попробуй-ка скажи им об этом прямо – обзаведешься кучей врагов на всю жизнь.

Одному-другому я все-таки сказал публично пару искренних слов. Но потом понял, что плетью обуха не перешибешь, и стал просто уходить от общения с этим народцем. Просто переставал общаться с человеком, а телефон его вносил в «черный список». И сразу мне становилось легче жить!

При встречах на улице, правда, мы и до сих пор иногда киваем друг другу…

ВОПЛЬ ИЗ БУДУЩЕГО

Нефти нет. Дела наши хреновы.
За бугром визжит чужая рать.
Государь, спаси нас! Мы готовы
Скипетр твой смиренно лобызать.

Мы готовы кушать щи да кашу
И пахать с зари и до зари.
Государь, спаси державу нашу!
Гласность и парламент – забери!

Наблюдая за «демократической» российской властью с младенческих ее лет, я отчетливо видел, что она год за годом трансформируется в нормальное русское самодержавие – с новоявленными боярами и дворянами, с холопами, тяглом и другими аксессуарами нашего векового евразийского бытия. В том числе с корыстолюбием. На моих глазах в российской провинции с самого начала 90-х годов полным ходом шел процесс беззастенчивого обогащения: «красные директора», создав на своих предприятиях нехитрые схемы наживы, быстро превращались в долларовых миллиардеров. Вчерашние комсомольские и партийные секретари, побратавшись с уголовниками, тоже что-то там «покупали-продавали»… И я с горечью думал, что иначе и быть-то не может. Ведь все они, новые купцы и заводчики – лихоимцы по натуре, с детских лет продавшие душу мамоне! Эти люди всегда были такими, их серые пиджаки, партийные билеты и комсомольские значки всегда были только камуфляжем, и это надо принять как данность.

Наверху всё катилось в ту же сторону. Ельцинское «не так сели» показалось мне не просто начальственной придурью, а типичной «оговоркой по Фрейду»: это прорычал уже не секретарь обкома, а Государь. И даже расстрел в 1993 году Верховного Совета России я воспринял не только как трагедию, но и как нечто вполне естественное для истории моего Отечества.

Ничего нового под луной! Стоит только поставить народ в ситуацию выживания, как люди начинают воссоздавать пусть и архаичные, но привычные и понятные для них конструкции общественной жизни, возвращаются к устойчивым схемам самосохранения. «Память формы», присущая, видимо, не только сплавам металлов, но и социальному бытию, мощно распрямляет согнутое – и, вопреки воле очередных реформаторов, народ воспроизводит оптимальный для него на данный исторический момент алгоритм существования.

Но что же будет дальше? Неужели царь-батюшка будет терпеть парламент европейского образца, реальную, а не липовую многопартийность, истинную свободу слова? Ну, хорошо, первый наш «демократический царь» кое-как мирился со всем этим (покуда не расстрелял свой парламент), но будет ли терпеть сию чепушистику его преемник? А следующий государь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.